



Солженицын Александр

## Содержание

Дыхание.....	3
Озеро Сегден.....	3
Утенок.....	4
Прах поэта.....	4
Вязовое бревно.....	5
Отражение в воде.....	6
Гроза в горах.....	6
Город на Неве.....	6
Шарик.....	7
Способ двигаться.....	7
Старое ведро.....	7
На родине Есенина.....	8
Колхозный рюкзак.....	9
Костер и муравьи.....	9
Мы то не умрем.....	9
Приступая ко дню.....	10
Путешествуя вдоль Оки.....	10
Молитва.....	11
Лиственница.....	11
Молния.....	12
Колокол Углича.....	12
Колокольня.....	13

# КРОХОТКИ

1958—1963

## ДЫХАНИЕ

Ночью был дождик, и сейчас переходят по небу тучи, изредка брызнет слегка. Я стою под яблоней отцветающей — и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя — и нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми лёгкими, ощущаю аромат всею грудью, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми — не знаю, как лучше. Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоённого цветением, сыростью, свежестью. Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока можно ещё дышать после дождя под яблоней — можно ещё и пожить!

## ОЗЕРО СЕГДЕН

Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку; над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая чёрточка. Человек или дикий зверь, кто увидит эту чёрточку над своим путём — поворачивай! Эту чёрточку ставит земная власть. Эта чёрточка значит: ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя.

А близ дорог в сосновой чаще сидят в засаде постовые с турчками и пистолетами.

Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру, — не найдёшь, и спросить не у кого: напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику проберёшься скотьей тропой в час полуденный, в день дождливый. И едва проблеснёт тебе оно, громадное, меж стволов, ещё ты не добежал до него, а уж знаешь: это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век.

Сегденское озеро — круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега (но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили) — до другого только эхо размытое дойдёт. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. Вышедшему к воде, видна тебе вся окружность замкнутого берега: где жёлтая полоска песка, где серый камышок оцетинился, где зелёная мурава легла. Вода ровная-ровная, гладкая без ряби, кой-где у берега в ряске, а то прозрачная белая — и белое дно.

Замкнутая вода. Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо — в озеро. И есть ли ещё что на земле — неведомо, поверх леса — не видно. А если что и есть — оно сюда не нужно, лишнее.

Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли.

Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальни его. Злоденыта ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погода — выстрел.

Там, за лесами, горбит и тянет вся окружающая область. А сюда, чтоб никто не мешал им, — закрыты дороги, здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы: кто-то костёр раскладывал, притушили в начале и выгнали.

Озеро пустынное. Милое озеро. Родина...

1958—1963

## УТЁНОК

Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бежит передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои все?»

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик — перевёрнутую корзину без дна — отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А нука, маленький, иди ко мне в ладони.

И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные — как бусинки, ножки —воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет. А между тем — тёпленький. И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером.

А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся, — за двадцать минут целый мир перепашем.

Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького жёлтенького утёнка...

## ПРАХ ПОЭТА

Теперь деревня Льгово, а прежде древний город Ольгов стал на высоком обрыве над Окою: русские люди в те века после воды, питьевой и бегучей, второй облюбовывали —

красоту. Ингварь Игоревич, чудом спасшийся от братних ножей, во спасенье своё поставил здесь монастырь Успенский. Через пойму и пойму в ясный день далеко отсюда видно, и за тридцать пять вёрст на такой же крути — колокольня высокая монастыря Иоанна Богослова. Оба их пощадил суеверный Батый. Это место, как своё единственное, приглядел Яков Петрович Полонский и велел похоронить себя здесь. Всё нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираться на тихие просторы.

Но — нет куполов, и церквей нет, от каменной стены половина осталась и достроена дощаным забором с колючей проволокой, а над всей древностью — вышки, пугала гадкие, до того знакомые, до того знакомые... В воротах монастырских — вахта. Плакат: «За мир между народами!» — русский рабочий держит на руках африканёнка. Мы — будто ничего не понимаем. И меж бараков охраны выходной надзиратель в нижней сорочке объясняет нам:

— Монастырь тут был, в мире второй. Первый в Риме, кажется. А в Москве — уже третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются, все стены изгадили, иконы побили. А потом колхоз купил обе церкви за сорок тысяч рублей — на кирпичи, хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался: пятьдесят копеек платили за целый кирпич, двадцать за половинку. Только плохо кирпичи разнимались, всё комками с цементом. Под церковью склеп открылся, архиерей лежал, сам — череп, а мантия цела. Вдвоём мы ту мантию рвали, порвать не могли...

— А вот скажите, тут по карте получается могила Полонского, поэта. Где она?

— К Полонскому нельзя. Он — в зоне. Нельзя к нему. Да чо там смотреть? — памятник ободранный? Хотя постой, — надзиратель поворачивается к жене. — Полонского-то вроде выкопали?

— Ну. В Рязань увезли, — кивает жена с крылечка, щёлкая семечки.

Надзирателю самому смешно:

— Освободился, значит...

## **ВЯЗОВОЕ БРЕВНО**

Мы пилили дрова, взяли вязовое бревно — и вскрикнули: с тех пор как ствол в прошлом году срезали, и тащили трактором, и распиливали его на части, и кидали в баржи и кузовы, и накатывали в штабели, и сваливали на землю — а вязовое бревно не сдалось!

Оно пустило из себя свежий зелёный росток — целый будущий вяз или ветку густошумящую. Уж бревно положили мы на козлы, как на плаху, но не решались врезаться в шею пилой: как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет! Ведь вот как оно хочет жить — больше нас!

## ОТРАЖЕНИЕ В ВОДЕ

В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далёких: даже если не мутен он, даже если свободен от пены — в постоянной струйчатой ряби, в неугомной смене воды отраженья неверны, неотчётливы, непонятны.

Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводи остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, — лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое пёрышко тонкого облака, и налитую голубую глубь неба.

Так и ты, так и я. Если до сих пор всё никак не увидим, всё никак не отразим бессмертную чеканную истину, — не потому ли, значит, что ещё движемся куда-то? Ещё живём?..

## ГРОЗА В ГОРАХ

Она застала нас в непроглядную ночь перед перевалом. Мы выползли из палаток — и затаились. Она шла к нам через Хребет. Всё было — тьма, ни верха, ни низа, ни горизонта. Но вспыхивала раздирающая молния, и отделялась тьма от света, выступали исполины гор, Белала-Кая и Джугутурлючат, и чёрные сосны многометровые около нас, ростом с горы. И лишь на мгновение показывалось нам, что есть уже твёрдая земля, — и снова всё было мрак и бездна.

Вспышки надвигались, чередовались блеск и тьма, сиянье белое, сиянье розовое, сияние фиолетовое, и всё на тех же местах выступали горы и сосны, поражая своей величиной, — а когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть.

Голос грома наполнил ущелья, и не слышен стал постоянный рёв рек. Стрелами Саваофа молнии падали сверху в Хребет, и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы или поражая и разбрызгивая там что живое.

И мы... мы забыли бояться молнии, грома и ливня — подобно капле морской, которая не боится ведь урагана. Мы стали ничтожной и благодарной частицей этого мира. Этого мира, в первый раз создававшегося сегодня — на наших глазах.

## ГОРОД НА НЕВЕ

Преклонённые ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых гранёных шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь — оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестёрка Победы над лукавою аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки...

Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить! — ни кондитерского небоскрёба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один

архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив всё влияние, не получит участка под застройку ближе Чёрной Речки или Охты.

Чуждое нам — и наше самое славное великолепие! Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам! Но стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы — желтоватые, бурые, шоколадные, зелёные.

Страшно подумать: так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слёзы жён — всё это тоже забудется начисто? всё это тоже даст такую законченную вечную красоту?..

## ШАРИК

Во дворе у нас один мальчик держит пёсика Шарика на цепи, — кутёнком его посадил, с детства. Понёс я ему однажды куриные кости, ещё тёплые, пахучие, а тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный, Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние лапы, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу. Подбежал ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал — и прочь опять, брюхом по снегу! Не надо мне, мол, ваших костей, — дайте только свободу!..

## СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ

Что был конь — играющий выгнутою спиной, рубящий копытами, с размётанной гривой, с разумным горячим глазом! Что был верблюд — двугорбый лебедь, медлительный мудрец с усмешкой познания на круглых губах! Что был даже черноморденький ишачок — с его терпеливой твёрдостью, живыми ласковыми ушами!

А мы избрали?.. — вот это безобразнейшее из творений Земли, на резиновых быстрых лапах, с мёртвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком. Оно не проржёт о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюёт, плюёт фиолетовым вонючим дымом. Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться.

## СТАРОЕ ВЕДРО

Ох, да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору. Какая-то земля здесь такая, что восемнадцатый год сохраняются, лишь чуть обвалились, не то что полосы траншей, не то что огневые позиции пушек — но отдельная стрелковая ячейка маленькая, где неведомый Иван хоронил своё большое тело в измызганной короткой шинельке. Брёвна с блиндажных перекрытий за эти годы, конечно, растащили, а ямы остались ясные.

Хоть в этом самом бору я не воевал, а — рядом, в таком же. Хожу от блиндажа к блиндажу, соображаю, где что могло быть. И вдруг у одного блиндажа, у выхода, наталкиваюсь на старое, восемнадцать лет лежалое, а и до тех восемнадцати уже отслужившее ведро.

Оно уж тогда было худое, в первую военную зиму. Может, из деревни сгоревшей подхватил его сообразительный солдатик да стенки ко дну ещё на конус смял и приладил его переходом от жестяной печки в трубу. Вот в этом самом блиндаже в ту тревожную зиму, дней девяносто, а может сто пятьдесят, когда фронт тут остановился, гнало худое ведро через себя дым. Оно накалялось шибко, от него руки грели, от него прикуривать можно было, и хлеб близ него подрумянивали. Сколько дыму через себя ведро пропустило — столько и мыслей невысказанных, писем ненаписанных — от людей, уже, может быть, покойных давно.

А потом как-нибудь утром, при весёлом солнышке, боевой порядок меняли, блиндаж бросали, командир торопил свою команду — «ну! ну!» — ординарец печку порушил, втиснул её всю на машину, и колена все, а худому ведру места не нашлось. «Брось ты его, заразу! — старшина крикнул. — Там другое найдёшь!» Ехать было далеко, да и дело уж к весне поворачивало, постоял ординарец с худым ведром, вздохнул — и опустил его у входа. И все засмеялись.

С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик — а худое верное ведро так и осталось у своего блиндажа. Стою над ним, нахлынуло. Ребята чистые, друзья фронтовые!

Чем были живы мы и на что надеялись, и самая дружба наша безкорыстная — прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому, забытому...

## НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА

Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Пыль. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники. Свинья зачуханная посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обёртывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлёт ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму.

На хилый курятник похожа и магазинная будка села Константинова. Селёдка. Всех сортов водка. Конфеты-подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят. Чёрных буханок булыги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под стать.

В избе Есениных — убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовёшь ни одну. В огороде — слепой сарайчик, да банька стояла прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами — обыкновенное польце.

Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями,— и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту



окрестность, и ещё сегодня он обжигает мне щёки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой далёкой тёмной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать:

На бору со звонами плачут глухари...

И об этих луговых петлях спокойной Оки:

Скирды солнца в водах лонных... ?

Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясённый, нашёл столько для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..

## **КОЛХОЗНЫЙ РЮКЗАК**

Когда вас в пригородном автобусе больно давят в грудь или в бок его твёрдым углом, — вы не бранитесь, а посмотрите хорошо на него, этот лубяной плетённый короб на широком брезентовом разлохмаченном ремне. В город возят в нём молоко, творог, помидоры за себя и за двух соседок, из города — полста батонов на три семьи.

Он ёмок, прочен и дешёв, этот бабий рюкзак, с ним не сравниваются его разноцветные спортивные братья с карманчиками и блестящими пряжками. Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня привычное крестьянское плечо.

Потому и взяли бабы такую моду: плетёнку вскидывают на середину спины, а ремень нахомучивают себе через голову. Тогда равномерно раскладывается тяжесть по двум плечам и груди.

Братья по перу! Я не говорю: примерьте такую корзиночку на спину. Но если вас толкнули — езжайте в такси.

## **КОСТЁР И МУРАВЬИ**

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там...

## **МЫ-ТО НЕ УМРЁМ**

А больше всего мы стали бояться мёртвых и смерти. Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить о ней, о смерти, мы не знаем...

Даже стыдным считается называть кладбище как серьёзное что-то. На работе не скажешь: «на воскресник я не могу, мне, мол, моих надо навестить на кладбище». Разве это дело — навещать тех, кто есть не просит?

Перевезти покойника из города в город? — блажь какая, никто под это вагона не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, а быстро прокатывают на грузовике. Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примирённо, рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зелёных холмиков: «Ничего!.. Ничего...»

А сейчас, если кладбище держится, то вывеска: «Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!» Но чаще — закатывают их, ровняют бульдозерами — под стадионы, под парки культуры.

А ещё есть такие, кто умер за отечество, — ну, как тебе или мне ещё придётся. Этим Церковь наша отводила прежде день — поминовение воинов, на поле брани убиенных. Англия их поминает в День Маков. Все народы отводят день такой — думать о тех, кто погиб за нас. А за нас-то — за нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет. Если на всех погибших оглядываться — кто кирпичи будет класть? В трёх войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов — пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам жить! Мы-то ведь никогда не умрём!

## ПРИСТУПАЯ КО ДНЮ

На восходе солнца выбежало тридцать молодых на поляну, расставились вразрядку все лицом к солнцу и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен. И так — четверть часа.

Издали можно было представить, что они молятся. Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему.

Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу. Нет, это не молитва. Это — зарядка.

## ПУТЕШЕСТВУЯ ВДОЛЬ ОКИ

Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он — в церквях. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точёными, резными поднявшиеся над соломенной и тёсовой повседневностью —

они издалека-издалека кивают друг другу, они из сёл разобщённых, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу.

И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, — никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов намётанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Борок Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского.

Но тыходишь в село и узнаёшь, что не живые — убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены; ободранный купол зияет остовом поржавевших рёбер; растёт бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко ещё сохранилось кладбище вокруг церкви; а то свалены и его кресты, выворочены могилы; заалтарные образы смыты дождями десятилетий, исписаны похабными надписями. На паперти — бочки с соляркой, к ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, берёт мешки. В той церкви подрагивают станки. Эта — просто на замке, безмолвная. Ещё в одной и ещё в одной — клубы. «Добьёмся высоких удоев!». «Поэма о море». «Великий подвиг». И всегда люди были корыстны, и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли — вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги.

В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили всё своё лучшее, всё своё понимание жизни. Ковыряй, Витька, долбай, не жалея! Кино будет в шесть, танцы в восемь...

## МОЛИТВА

Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, — Ты снислаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадёжность — сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей Твоих.

И сколько надо будет, чтобы я их ещё отразил, — Ты дашь мне. А сколько не успею — значит, Ты определил это другим.

## ЛИСТВЕННИЦА

Что за диковинное дерево! Сколько видим её — хвойная, хвойная, да. Того и разряду, значит? А, нет. Пристывает осень, рядом уходят лиственные в опад, почти как гибнут. Тогда — по соболезности? не покину вас! Мои и без меня перестоят покойно — осыпается и она. Да как дружно осыпается и празднично — мельканием солнечных искр.

Сказать, что — сердцем, сердцевиной мягка? Опять же нет: её древесная ткань — наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, и для сплава неподымна, и покинутая в воде — не гниёт, а крепится всё ближе к вечному камню.

Ну, а возвратится снова, всякий год как внезапным даром, ласковое тепло, — знать, ещё годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть — и к своим вернуться через шелковистые иголки.

Ведь — и люди такие есть.

## МОЛНИЯ

Только в книгах я читал, сам никогда не видел: как молния раскалывает деревья. А вот и повидал. Из проходившей грозы, среди дня — да ослепил молненный блеск наши окна светлым золотом, и сразу же, не отстав и на полную секунду, — ударище грома: шагов двести-триста от дома, не дальше?

Минула гроза. Так и есть: вблизи, на лесном участке. Среди высочайших сосен избрала молния и не самую же высокую липу — а за что? И от верха, чуть ниже маковки, — прошла молния повдоль и повдоль ствола, через её живое и в себе уверенное нутро. А иссялась, не дошла до низа — соскользнула? иссякла?.. Только земля изрыта близ подпалённого корневища, да на полсотни метров разбросало крупную щепу. И одна плаха ствола, до середины роста, отвалилась в сторону, налегла на сучья безвинных соседок. А другая — ещё подержалась денёк, стояла — какою силой? — она уж была и насквозь прорвана, зияла сквозной большой дырою. Потом — и она завалилась в свою сторону, в дружливый развилок ещё одной высокой сестры.

Так и нас, иного: когда уже постигает удар кары-совести, то — через всё нутро напрострел, и через всю жизнь вдоль. И кто ещё остоится после того, а кто и нет.

## КОЛОКОЛ УГЛИЧА

Кто из нас не наслышан об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетьюми, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц малого царевича), и те — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.

Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника — в часовенке-одиночке, где отбывал он свой тристолетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Димитрия-на-Крови. И колокол, хоть и двадцатипудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его

потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить.

Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлеается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломались недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь.

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравнения: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробЕвной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.

## КОЛОКОЛЬНЯ

Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу недотопленную Россию — не упустите посмотреть на калязинскую колокольню. Она стояла при соборе, в гуще избыточного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да поскудились большевики на неё. (Да что! — МолОга и вся на дне.) И сегодня, стань на прибрежной грани, — даже воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж, или Атлантиду, ушедшую на дюжину сажений глубины.

Но осталась от утопленного города — высокостройная колокольня. Собор взорвали или растащили на кирпичи ради нашего будущего — а колокольню почему-то не доспели свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы. И — вот, стоит из воды, добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора яруса залито), в последние годы уж и отмостку присыпали к ней для сохранности низа, — стоит, нисколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными пролётами, а дальше луковкой и шпилем — в небо! Да ещё на шпиле — каким чудом? — крест уцелел. От крупных волжских теплоходов, не добирающих высотой, как издали глянуть, и на пол-яруса, — шлёпают волны по белым стенам, и с палуб уже пятьдесят лет глазеют советские пассажиры.